Генри Пахтер

ЭДУАРД БЕРНШТЕЙН И ЕГО НАСЛЕДИЕ

Начну с предостережения: ревизионизм Бернштейна имеет мало общего с нынешними поисками "социализма с человеческим лицом"; противники Бернштейна – левые социалисты – были не менее верны ценностям демократиии и гуманизма. Правда, они редко говорили об этом в теории, но лишь потому, что все их силы уходили на претворение этих ценностей на практике. Среди социалистов никто не ставил их под вопрос. Предполагалось, что социализм призван расширить сферу свободы, утвердить права, от реализации которых отреклись либералы. Только враги социализма утверждали, что общественная собственность неизбежно приведет к бюрократической власти партийных верхов.

Критикуя Маркса и других, Бернштейн никогда не выступал против партии. Напротив, он мыслил себя прежде всего участником социалистического движения и хотел выработать теорию, которая была бы приемлема для его вождей. Бернштейну случалось предупреждать рабочих, чтобы они не очень верили первомайским ораторам. Но он подчинялся партийным решениям, когда они принимались согласно уставу. Он считал децентрализацию делом добрым, но известно достаточно примеров, когда он выступал и за централизованную организацию, и за строгое руководство.

Ревизионизм Бернштейна соответствовал периоду Второго Интернационала – приблизительно с 1880-х годов до 1914 года, когда пролетариат все еще рос – физически, морально и политически. Вместе с расширением капитализма набирали силу профсоюзы, а социалистические партии получали все больше голосов при каждых новых выборах. Именно поэтому Бернштейн мог полагать, что не нужны ни кровавые революции, ни насилие вообще, чтобы добиться власти: социалисты укрепляли бы ее шаг за шагом посредством выборов, а затем они бы преобразовали капитализм законодательным путем в более гуманную систему.

Но чтобы добиться этого социалисты нуждались в союзниках – прежде всего из крестьянства и интеллигенции. Было важно их не отпугнуть революционными жестами и фанатическими декларациями. Партия, которая хочет придти к власти, не должна связывать себе руки идеологическими путами, особенно если речь идет о такой устарелой идеологии как марксизм. Социалистические партии должны быть открыты для приверженцев любой веры; их программа должна вбирать в себя все достижения наук и искусств; их тактика должна быть гибкой. Важна была не ортодоксальность, а прогресс, в неизбежности которого в 1900-е годы не сомневались ни ортодоксы, ни ревизионисты, ни кто бы то ни было. Рабочее движение оставалось утопией, пока оно было незрело; теперь оно уже не может отвергать немедленные улучшения и, еще того менее, осуждать их только потому, что они представляются иллюзорными и мелкими в свете далеко стоящего идеала.

В этом смысл тезиса Бернштейна, который его и прославил: "Конечная цель – ничто; движение – все". В своей главной работе "Эволюционный социализм" он уточнил свою мысль, пояснив, что движение, конечно, нуждается в направлении, но цели его должны формироваться по мере его успехов. Я еще вернусь к обсуждению этой идеи. Но прежде несколько слов о самом Бернштейне.

"Во имя социализма"

Эдуард Бернштейн родился в 1850 году в еврейской семье. Его отец, паровозный машинист в Берлине, определил его в среднюю школу, что по тем временам было в среде рабочих необычно. Затем Бернштейна отдали в ученики к банкиру, но к тому времени уже пробудился его интерес к социализму. Сначала его больше Маркса привлекал Лассаль, но, сочтя учеников Лассаля сектантами, он вступил в марксистскую социал-демократическую рабочую партию. Это предпочтение интересов движения идеям сказалось и на его более поздних взглядах. В 1875 году Бернштейн участвовал в Готском съезде, на котором две германские рабочие партии слились в одну – Социал-демократическую партию Германии (СПГ).

Бежав от бисмарковских антисоциалистических законов в Цюрих, Бернштейн встретил там богача-филантропа Карла Хох-

берга, который финансировал еженедельник "Der Sozialdemokrat", переправлявшийся через границу в Германию. Поскольку связи между социалистами внутри страны были затруднены, этот печатный орган стал вскоре самым важным связующим звеном между ними. В конце концов его признали официальным органом партии. Не ясно, привлек ли Бернштейн симпатии Хохберга своей умеренностью. Но, во всяком случае, именно его тот выбрал на должность ответственного редактора. Маркс и Энгельс отнеслись с недоверием к обоим. Но когда Бернштейн посетил этих мэтров социализма в Лондоне, ему удалось завоевать их расположение. В 1888 году еженедельник перевели в Лондон, и Бернштейн стал там так близок к Энгельсу, что был избран в его душеприказчики вместе с Карлом Каутским, этим верховным жрецом ортодоксального марксизма.

Это доверие Бернштейн оправдал, издав серию "Dokumente des Sozialismus", в которой была впервые частично опубликована "Немецкая идеология".

В 1890 году СПГ была снова легализована, но над Бернштейном все еще висело судебное следствие, а потому он не покидал Англию вплоть до 1901 года. Он использовал этот долгий досуг для изучения английской революции XVII века и написал выдающуюся книгу о радикальных пуританах, которую Макс Вебер признавал серьезным вкладом в науку, по существу предвосхитившим его собственные изыскания внутреннего сродства пуританства с капитализмом. В Лондоне Бернштейн встречался с Джорджем Бернардом Шоу и посещал собрания Фабианского общества. Он наблюдал за успехами "революции по кусочкам", которую оно проводило: его восхитила респектабельность фабианцев, столь не похожая на манеры немцев; и он был сильно впечатлен постепенным расширением в Англии общественного сектора путем укрепления институтов основных социальных услуг, а также ростом демократизма в сфере промышленных отношений. В своей книге "Zur Geschichte und Theorie des Sozialismus" (1901) Бернштейн пользовался термином "революция по кусочкам", но впоследствии решающую роль фабианцев в собственном интеллектуальном развитии отрицал. Быть может, он и прав. Фабианский социализм, не будучи массовым движением, искал опоры у государственных служащих и благонамеренных управляющих предприятиями. Бернштейн же, напротив, был поглощен буднями профсоюзной работы, которая больше походила на классовую борьбу, чем на технократическое планирование.

Хотя Бернштейн значение этого направления обсуждал еще с Энгельсом, оно, вероятно, прояснилось для него лишь впоследствии; а, может быть, ему просто не хотелось огорчать несогласием своего престарелого друга и наставника.

Но не прошло и года после смерти Энгельса, как он принялся публиковать статьи, в которых атаковал марксистскую философию и теорию революции.

Бернштейн не был первым, кто заметил несоответствие между предсказаниями Маркса и реальным развитием капитализма. Но выводы, которые он сделал из этого наблюдения, не всегда удачны. Бернштейн переоценил жизнеспособность мелкого предпринимательства и уделил слишком мало внимания переменам в структуре капитализма — возникновению крупного бизнеса и монополистических организаций, кооперации банков, промышленности и правительств, возрождению колониальной экспансии. Все это подробно комментировалось и в теоретическом еженедельнике "Die Neue Zeit", который издавал Каутский, и в других изданиях. С другой стороны, Бернштейн отчетливо видел фундаментальные изменения условий и форм развития рабочего движения.

Но эта идея была высказана не только им. Сидней и Беатриса Вэбб только что опубликовали тогда свою "Промышленную демократию" (это классическое произведение было переведено Лениным, чтобы затем ссылаться на него как на доказательство, что сами рабочие способны выработать только "тредъюнионистское сознание").

Бернштейн, однако, и не претендовал быть творцом оригинальной теории. Он просто наблюдал текущую профсоюзную практику. Но, к его удивлению, профсоюзные лидеры не проявили особого интереса к их апологии; они вообще обходились без теории — "революционной" или какой-либо другой. "Ссора между интеллектуалами" вызывала в них досаду. Они боялись, как бы споры не ослабили движение. В партии поднялся ропот. В "Die Neue Zeit" были опубликованы резкие отповеди Бернштейну. Его осудил съезд партии, и он был бы из нее исключен, если бы не его личная дружба со многими ее руководителями. Не поддержало его репутацию среди рабочих и приглашение в Берлинский университет изложить свои взгляды перед академической аудиторией. (Бернштейн, вероятно, был единственным

человеком без аттестата зрелости, который удостоился такой чести. Двадцать лет спустя, когда были открыты архивы, тогдашние подозрения оправдались: прусский министр юстиции стремился использовать осуждение Бернштейна, надеясь, что это поведет к расколу СПГ.)

Бернштейн дал своей лекции амбициозное кантианское название "Возможен ли научный социализм?". Его ответ сводился к тому, что социализм – это не научно доказуемая необходимость, а моральный императив. В аудитории присутствовали такие социал-либеральные профессора, как Луйо Брентано, Вернер Зомбарт и Герхард Шульце-Геверниц, которых в насмешку называли "катедер-социалистами". Но эти меценаты "социальных мероприятий" были весьма далеки от Бернштейна. Его задачей была не реформа, а преобразование капитализма; его социальная политика должна была проводиться не ради рабочих, а самими рабочими. То, в чем эти профессора видели необходимое, а может быть, и оздоровляющее регулирование капитализма, для него было лишь первым шагом на долгом пути к новому общественному строю. То, что они ждали от правительства, он воспринимал как победу рабочего движения. Даже в его исследованиях чартизма и пуританства ударение делалось на самоорганизацию и деятельность масс.

Почему же, в таком случае, партия была так шокирована взглядами Бернштейна? Ведь ее собственная повседневная политика перестала быть революционной! Как писал Каутский, СПГ – это революционная партия, которая не занимается подготовкой революции. Но партия так или иначе ее ждала: она проснется в одно прекрасное утро и, смотрите-ка, революция уже на дворе! Что, надо сказать, и случилось в 1918 году.

Но до поры до времени партия вела себя так, будто полагала, что непрерывный, шаг за шагом, прогресс не только возможен при кайзеровском режиме, но и вполне достаточен. Партия росла. Она уже стала "сильнейшей из партий", как пелось в ее гимне. В 1903 году она получила треть всех голосов, и можно было ждать, что когда-нибудь она получит 51%. И все же, чтобы не сомневаться в этом конечном успехе, партия нуждалась в марксистской теории, которая подтвердила бы, что терпение будет вознаграждено, что "в конечном счете" начнутся фундаментальные перемены, что все страдания и жертвы в борьбе будут учтены в решающий момент и в последующий период благоденствия. Все еще опасно было ходить в пикеты, и никто не стал бы рисковать ради считанных копеек! Нужны были и флаг, и конечная цель, и будущее, и братство, ради которых стоило бы **умирать**. Крупные массовые забастовки в большинстве стран были политические: не за экономические выгоды, а за гражданские права, за право голосовать.

Бернштейн же утверждал, что революционная риторика партии более не соответствует ее будничной работе, то есть именно то, чего партия не желала слышать. Он предлагал согласовать теорию с реальными обстоятельствами классового конфликта, но не будет ли при этом утрачено необходимое мужество? Он обещал, что более трезвая идеология привлекла бы больше голосов среднего класса, но этого ли хотел пролетариат – одиннединственный, которому Маркс сулил будущее? Бернштейн предвосхищал всенародное движение, но партийная жизнь с ее профсоюзными столовыми, первомайскими торжествами и клубами оставалась пролетарской по лексике, манерам, одежде, обычаям и взглядам.

Дрезденский съезд (1903) отверг "ревизионизм" подавляющим большинством голосов. Знаменательно, что к этому большинству примкнули и те, кто соглашался с Бернштейном по всем практическим вопросам, но чувствовал, что партия не может пожертвовать идеологией, которая обеспечила ей величие. Игнац Ауэр, друг Бернштейна, симпатизировавший ему, сухо заметил:

> "Дорогой мой Эде, эти вещи надо делать, но никто не станет ими бахвалиться".

Бернштейн остался одинок, пока мировая война не обнаружила, что партия стала гораздо более ревизионистской, чем хотел бы даже он.

Поначалу и Бернштейн соглашался, что "в войне против кровавого царя" ни один социалист не должен остаться нейтральным, – утверждение, к которому сердечно присоединились бы Маркс и Энгельс. Однако он вскоре понял, что германские цели войны были не менее отвратительны, чем царские, и отделился от парламентской фракции СПГ, которая продолжала голосовать за военные кредиты кайзеру. За ним последовало не-

сколько социалистов из национальных меньшинств. Оказались с ним заодно и радикальные левые противники войны. Они собрались, чтобы организовать новую партию – независимую социал-демократическую партию Германии (НСДПГ). Так Бернштейн временно объединился со своими прежними противниками – старыми марксистами – Каутским, Гильфердингом, Ледебуром, Хаазе, и левыми радикалами типа Деймига и Либкнехта, которые впоследствии создали коммунистическую партию. Хотя НСДПГ составляла лишь меньшинство старой СПГ, в ней воплотились лучшие социалистические традиции Германии: она была революционной и пацифистской; она имела крепкую базу в "советах" (Raete), которые складывались в строительной и оборонной промышленности; она приветствовала русскую революцию, когда она разразилась в 1917 году; она стала движущей силой революционных событий 1918-1919 гг.; она заставила рейхстаг подписать Версальский договор.

Однако в этом революционном окружении Бернштейну всегда было не по себе. В ноябре 1918 года он пытался предотвратить "поспешную" национализацию, которая грозила подорвать производство. Вскоре после революции он вернулся в СПГ, хотя не порвал связей с НСДПГ. Когда такое двойное членство было объявлено недопустимым, он выбрал СПГ, но вплоть до 1920 года не оставлял усилий примирить обе партии. Затем половина независимых была поглощена коммунистами, тогда как вожди старого марксистского центра (Каутский, Гильфердинг) возвратились в прежнюю партию. Двумя годами позднее, на торжестве по случаю семидесятилетия Каутского, Каутский и Бернштейн восстановили свою былую дружбу лондонских времен и объявили о своем полном согласии друг с другом. Через сорок лет, во время юбилейных торжеств, Карло Шмидт имел основания утверждать, что "Бернштейн одержал победу повсеместно".

Вернувшись в лоно прежних единомышленников, Бернштейн получил место в рейхстаге и стал признанным авторитетом партии по налоговым вопросам. Еще важнее было, что, как бывший независимый, он оказался очень полезен партии в ее полемике с левыми: его памфлеты этого периода защищали поведение лидеров СПГ во время революции 1918 года и парламентарной республики.

СПГ все еще пропагандировала в молодежных кружках марксизм, но к середине 20-х годов сменила классовую борьбу на

борьбу за республику. На Гейдельбергском съезде партия приняла новую программу, основанную на идее "организованного капитализма" и направленную на решение новых проблем промышленной демократии, предотвращение кризисов. В социальном законодательстве партия все еще придерживалась бернштейнианской линии реформистского социализма. Но возникали новые гигантские задачи, которых он не мог предвидеть: труд все больше втягивался в участие при административных и экономических решениях; вместо трансформации капитализма труд оказался призванным его "спасать".

В Пруссии, которая была теперь самой развитой частью германского государства, социал-демократы планировали и расширяли обобществленную собственность. Бернштейн, который говорил, что

> "доброе социальное законодательство стоит сотни национализаций",

снова оказался позади развития. Авторитет его опять потускнел, а его последние книги вызывали недоумение. Он скончался в 1932 году, когда история вдребезги разбила либерально-социальную идеологию и республиканские иллюзии СПГ.

Петер Гай, его биограф, определил "дилемму демократического социализма" как выбор

> "между Харибдой импотенции перед врагом и Сциллой предательства общего дела".

И возникает вопрос: неизбежно ли это? Исключают ли демократические убеждения воинственность и решительность?

Два взгляда на революцию

Суть ревизионизма состоит в убеждении, что прогресс социального равенства и власти труда может быть достигнут без насильственной революции; что эти цели не могут осуществиться действиями непреклонного меньшинства, но нуждаются в участии большинства народа; что революция в социальном смысле должна быть понята скорее как длительный процесс, чем единовременный акт:

"Социализм придет или, вернее сказать, приходит не как результат великого политического сдвига, а в итоге серии экономических и политических побед рабочего класса в различных областях его активности; не как последствие растущих репрессий, нищеты и унижений, а в итоге растущего влияния и улучшений, за которые боролись рабочие. Социалистическое общество возникнет не из хаоса, но из творческого сотрудничества в экономической сфере, из творческих преобразований, осуществляемых воинствующей демократией в государстве и обществе. Несмотря на контрудары реакции, я предвижу, что в классовой войне допустимы самые демократические формы, и это – лучшая гарантия осуществимости социализма".

Эти формулировки были приготовлены Бернштейном к Штуттгартскому съезду СПГ в 1989 году и опубликованы в книге "Was ist Sozialismus?" в 1922 году. Эта концепция явно брала в качестве модели возвышение буржуазии, которая выросла в порах феодального общества и набрала силу еще при абсолютизме. Революционным или нереволюционным путем, она призвана была достигнуть доминирующего положения во всех современных странах, в которых она развила присущую ей экономическую систему и промышленность. Марксисты были убеждены, что рабочий класс не может возвыситься точно таким же путем, поскольку он не владеет средствами производства. Напротив, рабочие могут придти к власти, – настаивают марксисты, – лишь перевернув общество с головы на ноги, не через процветание, а через катаклизм. Рабочий класс не может внедрить свои принципы в прежнюю экономику, как ее спутник, противник и наследник; нужна повивальная бабка, которая "извлекла бы новое общество из чрева старого", – Маркс был слишком доверчив к этому образу, который он унаследовал от Гегеля.

Маркс сохранил это космическое и несколько фривольное представление об апокалиптическом скачке: *социальная* революция буржуазии завершилась еще прежде, чем она добилась символов власти, но все же и эта революция должна была завершиться *политическим* актом, который уничтожил бы "надстройку" феодального государства. Парадоксальным образом Маркс предусматривал ту же диалектику и для пролетарской революции, но с одной существенной разницей: если в буржуазной революции социально-экономические и культурные перемены *предшествовали* захвату политической власти, при пролетарской революции социально-экономические и культурные преобразования должны *следовать* за ним.

Эта схема не была чужеродным элементом в марксизме. Она соответствовала времени, когда пролетариат был еще слаб, и именно поэтому была целиком воспринята Лениным; но даже в такой развитой стране, как Германия, пламя воинственности все еще нужно было поддерживать этим пророчеством о великом катаклизме, о дне расплаты и обновления. Как мы видели, даже "прагматики" из социалистических политиков понимали, что партии нужна яростная революционная риторика. Бернштейн же считал это скверным наследием поколения 1848 года, когда все радикалы оглядывались на якобинцев, а немецкие радикалы к тому же поддались соблазнам "триад гегелевской диалектики". Не попади сам Маркс в западню этих триад, которые требовали кровавых качественных скачков, он не был бы слеп к возможностям более комфортабельного движения в будущее. Но разве не отвоевали рабочие будничной борьбой за "политическую экономию пролетариата", посредством профсоюзов и законодательства, при помощи голосов, а не пуль, – по свидетельству того же "Капитала", – такие уступки, как десятичасовой рабочий день и социальное страхование? Разве не написал сам Энгельс в предисловии к новому изданию "Классовой борьбы во Франции" Маркса, что современное планирование городов, современное оружие и тактика полиции превратили старую тактику восстаний в атавизм? Баррикады могут служить лишь как метафора, память о них можно прославлять в песнях и полотнах. Но в самых развитых странах – в Нидерландах, в Англии, Соединенных Штатах – Энгельс считал вполне допустимым, что рычагом революции станет парламентское большинство. В Германии СПГ уже завоевала 1 млн. 200 тысяч голосов, а следующий кризис наверняка удвоит это число; к концу столетия сам Энгельс надеялся увидеть, как социализм возьмет в свои руки власть демократическими средствами.

Может быть, Энгельс не вполне осознавал, что воспринимая с таким энтузиазмом избирательные успехи социалистов, он тем самым отрекался не только от насилия и диктатуры, но и от философии, которая пронизывает и теорию стоимости Маркса, и его теорию государства.

Марксистская идея революции пророчит разрыв времен, внезапный поворот направления с сегодня на завтра. Но парламентская тактика предполагает, что отдельные пункты социалистического законодательства могут вводиться постепенно и что равновесие сил может сдвигаться от одного класса к другому на протяжении целого исторического периода. Как буржуазия имела возможность использовать государство в своих целях еще до того, как символы власти оказались в ее руках, так и рабочие могут добиваться власти постепенно, ведя борьбу в промышленности, в парламенте, в области культуры и права.

Если термин "революция" имел еще какой-то смысл, его надлежало определить по-новому. Он более не предполагал военно-политической акции, которая призвана осуществить немедленную смену режима. Революция в этом новом смысле подразумевала затяжную борьбу на протяжении многих парламентских сессий за преобразование частно-предпринимательской экономики в смешанную систему, при которой частная и кооперативная, муниципальная и государственная формы собственности, все вместе переживая процесс демократизации, будут конкурировать между собой. То же самое будет совершаться и со всеми другими общественными функциями. Классовые различия будут стираться, пока вовсе не исчезнут. Революция, таким образом, — это длительный процесс, а не единожды предпринимаемое хирургическое вмешательство. Вспоминая излюбленную метафору Маркса, можно сказать, что социализм нельзя извлечь на свет кесаревым сечением.

Воплощение в жизнь описанных выше исторических тенденций принесло Фердинанду Лассалю, этому метеором сверкнувшему основателю немецкого социализма, посмертную победу над Марксом. В "Критике Готской программы" Маркс отрицал, что рабочие могут просто "захватить" старый государственный аппарат. Лассаль же, напротив, утверждал, что, победив на выборах, рабочие могут в своей борьбе с буржуазией использовать существующие государственные институты. В объединенной немецкой партии все еще сохраняли марксистскую теорию для торжественных случаев, но в практических, повседневных делах марксистский упрямый пуританизм скорее мешал, чем помогал; эта теория могла оправдывать классовую борьбу, но не направлять ее. Поэтому социалистические съезды заполнялись безвредными спорами по поводу взаимоотношений между социалистической сознательностью и необходимостью привлекать как можно больше избирательных голосов: должны ли социалисты агитировать за финансовую помощь частным крестьянским хозяйствам, если Маркс предсказывал этим хозяйствам гибель? Как можно привлечь на свою сторону избирателей из среднего класса, если Маркс уготовил им погребение между исторических вех Капитала и Труда? Допустимо ли для партийной газеты маленького княжества оплакивать кончину местного суверена? Должны ли социал-демократические депутаты из вежливости, хотя бы молча, вставать, когда председатель палаты по окончании заседания рейхстага по традиции провозглашает "Ура кайзеру!"? Или молча сидеть? Или каждый раз покидать зал в знак протеста? Может ли партийная газета из номера в номер перепечатывать "Жерминаль" Золя, где отважные пролетарии изображаются без прикрас? И должны ли социалисты вмешиваться в "мелкобуржуазное" дело капитана Дрейфуса?

Во всех этих случаях интересы прогресса требовали поддержания отношений со старым режимом, который был оскорбителен для этики и эстетики классово сознательного пролетариата. Однако "прагматики" среди профсоюзных лидеров не задумывались жертвовать идеологией ради реального укрепления своей власти.

Между тем, подобные же исторические перемены распространили "реформизм" и среди других партий Интернационала. Турати сформировал Итальянскую социалистическую партию, исключив из нее революционных синдикалистов. Во Франции руководимая Жюлем Геде и Полем Лафаргом "Parti Ouvries" записала в своей программе:

> "Избирательное право превращается из средства обмана, каким оно было прежде, в средство освобождения"

(этой оговоркой хотели как-то умиротворить беспокойный призрак Маркса). Конечно, в самодержавных и полуфеодальных странах государственную машину все еще предстояло ломать, прежде чем можно было рассчитывать на какое-либо демократическое развитие. И даже на Западе рабочие-социалисты все еще представляли себе революцию как "один день" (одна из работ Каутского так и называлась: "Назавтра после революции"). Но в повседневной практике массовые партии концентрировали

свои усилия на избирательной политике и социальном законодательстве; в южногерманских землях, где конституции были более либеральны, эти партии иногда получали достаточно голосов, чтобы сформировать большинство, и даже марксисты-ортодоксы перестали относиться с подозрением к социальным реформам. Роза Люксембург начала свой памфлет "Социальная реформа или революция?", эту красочную полемику против Бернштейна, с утверждения, что эти два термина не исключают один другой. Перед первой мировой войной социал-демократия оставалась марксистской на словах, но ее действия едва ли определялись ее программой. Когда Бернштейн предлагал очистить марксизм от гегелевского и бланкистского наследия, в его намерения не входило ничего, кроме приведения теории в соответствие с практикой.

Ревизии и ревизионизм

Теперь пора перейти к "Эволюционному социализму" – книге, которая прославила имя Бернштейна. Это не так-то легко, поскольку Бернштейн не был систематическим мыслителем. Он был достаточно талантливый журналист, чтобы умело пользоваться фактами и статистикой, но неловко оперировал идеями, и простое "например" часто принимал за аргумент. Его изложение сильно проигрывало от двойственного отношения к основоположникам рабочего движения. Их ортодоксальные ученики укрепились в области теории и, вместо того, чтобы развивать свою собственную программу, Бернштейн вынужден был представлять свои взгляды как отклонение от установленной доктрины, временами раздувая малейшие расхождения. Что бы ни подразумевал Маркс "на самом деле", марксизм, каким его знал Бернштейн, был представлен поздним Энгельсом и Карлом Каутским. Это был марксизм, который претендовал на "научность" в том смысле, как ее понимал жестко детерминистский материализм XIX века. Смысл этого марксизма для рабочего движения сводился к утверждению, что победа столь же неизбежна, как если бы она вытекала из законов природы. Хотя Энгельс отрицал, будто нечто может непосредственно "вытекать" из самой диалектики (например, в "Анти-Дюринге"), именно Бернштейн поставил вопрос: а к чему же тогда вообще

разговоры о диалектике? И Марксов закон стоимости представлялся ему чистейшей метафизикой:

> "Что рабочий никогда не получит полную компенсацию за свой труд, – это просто эмпирический факт, который не нуждается ни в каких дедуктивных доказательствах. Правильна ли марксистская теория стоимости или неправильна, она слишком нематериальна, совершенно недостаточна для доказательства наличия прибавочного труда".
>
> *("Evolutionary Socialism", p. 35)*

Пристрастие Маркса к абстракциям отвлекало его от эмпирической реальности. Предсказания, которые он основывал на своих мнимых "законах", не подтвердились. Бернштейн замечал в своем дневнике:

> "Крестьяне не разорились, средний класс что-то медлит исчезать, кризисы не становятся более жесткими, как не растет нищета и не усиливается порабощение".

Капитализм нигде не обнаруживал близости к падению, что должно было произойти согласно предсказаниям Энгельса, – напротив, он процветал. Классовые различия вместо того, чтобы поляризоваться, обогащались промежуточными тонкими оттенками. Вместо того, чтобы стремиться к концу, капитализм посредством картелей, кредита, поддержки крестьянских хозяйств, социальной политики научился преодолевать кризисы. Средний класс отнюдь не исчезал; наоборот, его расширение придавало крепость экономической структуре и смягчало производственные циклы.

Рабочие находили теперь больше возможностей крепить свои ряды и добиваться компромиссов с капиталистической системой, а социалистам все труднее становилось проповедовать необходимость тотального взрыва, то есть революции. Стали поговаривать о возможности органической трансформации (Hineinwachsen), – чего, впрочем, никогда не делал сам Бернштейн. Но оставалось неясно, "перерастает" ли капитализм сам по себе в своего рода государство всеобщей обеспеченности или рабочие адаптируются к капитализму. В любом случае, условия классовой борьбы со времен "Коммунистического манифеста", кото-

рый все еще оставался базисом и источником теоретической части программы, принятой СПГ в 1891 году в Эрфурте, решительно изменились.

Сам Бернштейн написал вторую, практическую часть этой программы, требования которой охватывали и всеобщие, равные выборы при тайном голосовании, и подоходный налог, и даже "оплаченные похороны". Ни одно из этих требований не было так взрывчато, так "трансцендентно", как знаменитые "десять требований", сформулированные в конце "Коммунистического манифеста".

"Эволюционный социализм" Бернштейна был посвящен рассмотрению именно этих несоответствий. В первой части он суммировал основные принципы марксизма; во второй показывал, что эти принципы не приложимы к современному миру; в третьей он говорит о практической деятельности социалистов: профсоюзное движение, кооперация, парламент. Особенно красноречиво представлена Бернштейном парламентская деятельность:

> "Демократия есть ограничение классового правительства, хотя преодоление классовых различий полностью не достигается... Избирательное право при демократии делает ее граждан действительными партнерами, а в конечном счете должно сделать их товарищами".

Обсудив сущностные взаимодействия между социализмом и демократией, Бернштейн подходит к вопросу о патриотизме. В отличие от Маркса, он признает, что рабочие имеют отечество, ибо, будучи "партнерами", они должны его защищать. "Окончательный развал наций — не такая уж красивая мечта". Что же касается немцев, то они "несут свою долю почетного бремени по цивилизаторской работе в мире" и особенно в Китае, где кайзер только что заполучил базу в Киаочао.

Даже когда появились более глубокие исследования империализма и колониализма, — а они стали одно за другим появляться в еженедельнике "Die Neue Zeit", — Бернштейн не смог оценить их по достоинству. Совершенно так же, как его оптимистические прогнозы относительно капитализма базировались на выживаемости мелкого предпринимательства, а не на действительно новых явлениях — монополиях и финансовом капитале, Бернштейн не понял смысла ни бурской войны, ни фашодского

кризиса, ни отчаянного броска Германии в мировую политику и других симптомов, которые свидетельствовали, что мир стал слишком тесен для национального капитализма. В книге, целиком посвященной очищению горизонтов для труда при плодоносящем и усиливающемся капитализме, трудно ожидать мрачных предчувствий надвигающегося кризиса. "Эволюционный социализм" Бернштейна, не будучи конструктивной книгой, как некоторые склонны его воспринимать, целиком принадлежит времени, в котором она появилась, — 1899 году.

Сделав эту существенную оговорку, мы можем признать и заслуги Бернштейна: он сократил разрыв между социал-демократической теорией и социал-демократической практикой; он заставил осудившее его большинство отказаться, тем не менее, от бланкистских фантазий; он описал рабочее движение, каким оно было в действительности. Сделав это, он предотвратил переход неизбежного разочарования в панику. Немецкое рабочее движение избегло катастрофических предательств — оно не знало ни Милльерана, ни Бриана, ни Рамсея МакДональда, ни Муссолини. Это можно считать результатом его знакомства с ревизионистской теорией, а также мудрости Бебеля, который обеспечил место внутри партии ревизионистам, — тем, кто, не следуя более за Марксом, остался социал-демократом.

Критиковать Маркса не значило просто пересматривать то или иное его положение в свете последующего развития. Бернштейн отбросил марксистский м и ф , марксистские заверения, будто имеется всеобъемлющая философия, которая надежно гарантирует:

а) что за капитализмом обязательно воспоследует социализм;

б) что социализм будет совершенно не похож на капитализм;

в) что социализм обязательно будет лучше или, вернее, будет "наивысшей стадией в развитии человечества".

Бернштейн не считал, что марксизм способен подтвердить какую-либо из этих претензий, что он может быть одновременно и научным, и оставаться связанным с определенной партией или классом. По его мнению, никакой партийной науки быть не может:

"Как не может быть либеральной химии, такой же нелепостью представляется мне и социалистическая социология".

("Sozialistische Monatshefte", 1901, стр. 32).

Понижая роль марксизма до одного из приемов социального анализа, Бернштейн не только лишал его притягательности как политической философии; он освобождал рабочее движение от идеологии безответственности, а социализм – от его претензий быть религией спасения.

Теория демократии

Утрата мифа будет слишком высокой ценой, если не найти ему замены. Предлагал ли Бернштейн какую-нибудь замену? Во всех его работах легко обнаружить руководящую идею – непоколебимую преданность демократии и ее ценностям.

Впрочем, Бернштейн не разработал собственной теории демократии. Подобно другим социалистам своего поколения, он был склонен смешивать политическую и экономическую демократию, демократию участия и демократию представительства, демократию как образ жизни и демократию как государственную систему, демократию как власть народа и демократию как мирное улаживание конфликтов, как гарантию законности и правопорядка. Скрещивая традиции Руссо и Лассаля, он питал почти наивное доверие к правоте большинства и справедливости абстрактной демократии. Он, как и все социал-демократы, был убежден, что социализм немыслим без демократии, и что демократия подразумевает социализм.

К несчастью, то, что постулировалось как величественная целостность идеи, уродливо раздвоилось, когда теория была, наконец, претворена в практику. В 1917 году большевистская революция во имя "триумфа" социализма уничтожила демократию; в 1918 году СПГ пренебрегла социализмом, чтобы спасти демократию – и весьма показательно то, что боевое демократическое движение оказалось заморожено боевым демократическим порядком. Человек, сказавший, что "движение – все", был занят теперь составлением конституции, которая не расценивалась более как орудие социальной политики, а превратилась в цель сама по себе. Главной темой Бернштейна стала защита конституции от критики слева; смысл конституции он понимал теперь как законность и порядок: демонстрантов расстреливали, разглашателей военных секретов сажали за решетку, цензоры затыкали рот прессе и театрам, распускались демократически избранные правительства земель, президенты республики правили на основе чрезвычайных законов – и все это во имя правильного отправления республиканских процедур. Тогда обнаружилось, что призывы Бернштейна к "демократии" вели не к разрушению "статус кво" в Германии, а к компромиссу с ним. Во время революции 1918-1919 гг. он защищал поведение лидеров СПГ и, таким образом, несет долю ответственности за крушение демократических чаяний. *Социалистическая* революция, действительно, на повестке дня тогда не стояла; но революция 1918 года не осуществила даже программы революции 1848 года, а республиканская политика, которой придерживалась СПГ все 14 лет Веймарской республики, не была даже реформистской. Или, по крайней мере, ее можно с полным правом винить за то, что она была недостаточно реформистской.

Ревизионизм ли был в том повинен или неуспех СПГ оказался результатом личных промахов и стечения исторических случайностей? Говоря теоретически, вполне мыслима массовая, преданная принципам демократии и проводящая реформистскую тактику социал-демократическая партия, которая была бы тем не менее и динамичной, и решительной, и воинственной. Поэтому я не буду столь несправедлив, чтобы пользуясь прошлым, оценивать историческое значение ревизионизма. В истории post hoc не обязательно означает propter hoc, а ревизионизм должен быть понят, исходя из условий, которые сложились около 1900-х годов.

За предшествующую половину столетия рабочий класс проникся демократическими стремлениями, которые утратил средний класс; они соответствовали его собственным интересам и мотивировались потребностями развития классовой борьбы. Профессиональные союзы были заинтересованы не только в материальных выгодах, но и в безопасности, которая гарантировалась бы им системой законов. Как отчетливо понимал это Ленин, революция не совпадала с непосредственными интересами рабочего класса: только увлеченные своей утопией интеллигенты смотрели с пренебрежением на "легализм" профсоюзных лиде-

ров. Но, чтобы расти, чтобы планировать свое будущее, рабочее движение должно было стремиться не только к легальному признанию и защите со стороны закона, оно должно было само оставаться строго легальным. Представители организованных рабочих заключали контракты, заключали и политические соглашения. И казалось вполне приемлемым, когда лидеры рабочего движения даже перегибали палку по части легальности и респектабельности – так, направляясь в рейхстаг, Бебель всегда надевал фрачную пару и наставлял молодых депутатов одеваться с достоинством.

Именно так понимали демократию ревизионисты: предполагалось, что существующий порядок должен признать рабочее движение как своего равноправного партнера, а следовательно, рабочее движение само обязано стать ответственным и законопослушным. И именно в этом – конечная причина, почему Бернштейн так стремился избавиться от революционной фразеологии, почему он так противился спонтанным волнениям рабочего класса во время революции. Не советы, не воинственные активисты, не независимые профсоюзы, не малонадежные местные организации, а прочно централизованные союзы работников призваны были решать судьбу Республики. Если предлагалась национализация, ее должен был принять рейхстаг как закон; но надлежало решительно остерегаться революционного вмешательства в это дело народных комиссаров (то есть временного правительства, которое правило до января 1919 года). В самые жаркие дни революции Бернштейн с лаконизмом дельфийского оракула сформулировал свое определение:

> "Социализм есть совокупность социальных требований и естественных стремлений рабочих, которые доросли до понимания своего положения в современном капиталистическом обществе и своих классовых задач".

Революция создала идеальные предпосылки для перехода классовой борьбы в правопорядок: конец прислужничеству полиции перед хозяевами, конец цензовому избирательному праву, покончено с аристократами на вершине государственной иерархии. Теперь все упиралось в сохранение демократических установлений, при которых рабочее движение могло беспрепятственно выступать в защиту интересов трудящихся. Его историческая миссия неизбежно должна претерпеть при этом определенные перемены.

Историческое значение ревизионизма заключалось, следовательно, в том, чтобы заново подчеркнуть вторую часть названия партии: социал-*демократия*, – не "социалистическая демократия", а "демократический социализм".

Именно таково было понимание большинства рабочих, хотя ленинская историография долгое время затемняла эту истину, и даже некоммунистические историки признавали ее не без сопротивления: социал-демократы вовсе не "предавали" идеалов революции, ибо уже 40 лет не занимались ее подготовкой; они не "разрывались" между Харибдой теории и Сциллой практики, ибо рабочее движение воплощало скорее интересы, чем идею.

Историки, которые считают, будто революция должна засесть в голове каждого рабочего, задаются ложными вопросами: откуда взялся ревизионизм? как эта извращенная теория овладела социал-демократией, которая иначе осталась бы революционной? Они называют при этом "совратителями" то профсоюзных боссов (Питер Гэй), то партийных боссов (Роберт Мичелс), то рабочую аристократию (Ленин), то избирательные законы и парламентские порядки массового общества (Маркузе) или просто недостаточно умелую марксистскую пропаганду (Троцкий). А на мой взгляд, "совратителем" была инерция, и поэтому ответ очень прост: "А почему бы ревизионизму и не утвердиться?" В объяснении как раз нуждается живучесть самого марксизма. Ведь люди не думают о революции, пока их на их же беду не спровоцируют; и даже в революции они предпочитают перепоручить проведение ее в жизнь соответствующим организациям. Социал-демократические партии проводили прагматическую политику, старались создать институты, наиболее благоприятные для этой политики, и сулили "социализм" лишь как отдаленный идеал, к которому можно асимптотически приблизиться в ходе последующей истории.

Этический социализм

Как я уже сказал, воинствующим активистам нужна вера, символика, миф. Наоборот, демократия как формальная система государственного устройства, особенно когда она уже ут-

вердилась на принципах законности, обычно не воспламеняет дух, сколько бы жизней ни было за нее отдано. Социализм же вносит в политическую деятельность известный привкус трансцендентности, а марксизм, как великая теория, не только рисует идеал, но и окружает его ореолом философской и исторической необходимости, создавая сплав того, что должно быть, с тем, что будет. Но поскольку ревизионизм отверг идею партийности науки, поскольку он отказался смешивать научные и моральные суждения, он не мог далее, как это делал марксизм, претендовать на "прочтение" фактов, которое обязательно приводило бы к нравственным выводам. Даже если бы исторический материализм оказался прав, если бы за капитализмом, действительно, обязательно следовал социализм (чему Бернштейн не видел убедительных доказательств), отсюда еще вовсе не вытекало, что социализм представляет не только весьма *возможную,* но и весьма желательную альтернативу.

Жесткий детерминизм философии непосредственных наследников Маркса смущал многих более молодых марксистов, да и сам Маркс признавал (в "Первом тезисе о Фейербахе"), что идеализм лучше, чем материализм обосновывал человеческую активность. Ревизионизм, который стремился обеспечить рабочему движению свободу маневра, в детерминистской философии не нуждался вовсе. Бернштейн принимал экономическое истолкование истории, но с существенной оговоркой:

> "Железная необходимость должна быть модифицирована так, чтобы расширить границы социально-политической практики".
>
> *("Эволюционный социализм")*

Но тем самым он наталкивался на вопросы, которые изо всех сил пытался обойти.

> "Откуда же берется ваша социалистическая вера? Откуда явилась социалистическая мораль?"

Бернштейн все же приблизился к ответу в своей академической лекции "Возможен ли научный социализм?". Сама эта кантианская постановка вопроса показывает, что Бернштейн искал ответа в категорическом императиве, который, несомненно, подразумевает глубокую веру в равенство людей, а также осуждение пользования человеком как средством для какой-то цели. Идея эта – демократическая, но вовсе не обязательно социалистическая. Бернштейн, – опять-таки в кантианском духе, считал, что общественные науки способны снабдить социалистов практическим инструментом для достижения их целей, но неспособны определить сами эти цели. Откуда же они тогда берутся? Ответом и является этический социализм. Действительно, многие ревизионисты искали источник своей веры в этической философии или религии. Самыми известными из них были Жан Жорес и Курт Эйснер (товарищ Бернштейна по партии независимых и ее мученик), а также философы Герман Кон, Карл Форлендер и Пауль Наторп. Последние принадлежали к кантианской школе и, поскольку они были единственными профессиональными философами, которые исповедовали социализм, стало принято связывать ревизионизм с кантианством.

Свой главный труд Бернштейн позволил себе закончить каламбуром.

> "Избавляясь от ханжества марксистской пропаганды, – восклицал он, –
>
> давайте освободимся и от ее жаргона (cant), вернемся назад к Канту и будем разрабатывать 'пролегомены социализма', как Кант создал 'Пролегомены всякой будущей метафизики'."

Бернштейн знал про Канта из популярной "Истории материализма" Фридриха Альберта Ланге – источника, на который он сам честно указал. Но другие его работы не обнаруживают ни понимания кантовской философии, ни даже знакомства с ней. Что же касается сочинений тех социалистов-неокантианцев, которых я только что назвал, они пытались сделать именно то, что было неприемлемо для Бернштейна: дедуцировать социализм a priori из категорического императива – предприятие, в его глазах не менее опасное, чем игра в гегелевскую диалектику. К тому же известны неокантианцы, которые вовсе не были ревизионистами, например Макс Адлер, который свил свое философское гнездо в среде крайне левых австрийской социалистической партии. Были также и этические социалисты, но вовсе не кантианцы. Можно здесь назвать хотя бы Толстого, Густава Ландауэра, Оскара Уайльда, Бертрана Рассела, Рамсея МакДональда, при-

чем, некоторые из них были более радикальны, чем марксисты, а некоторые -- менее. Источники этического социализма составляют широкий спектр и, хотя марксисты обращались с Кантом крайне недоброжелательно, предоставлять ему место в истории социализма нет никаких оснований. Ни идеи Бернштейна, ни идеи Жана Жореса или какого-либо другого социалиста не находятся в таком же отношении к Канту, в каком марксисты находятся к Гегелю; механика их мышления никоим образом не связана с этим мыслителем.

Но хотя это не объяснено самим Бернштейном и не обнаруживается стилем его философствования, я думаю, что не так уж сложно решить спор насчет истоков бернштейнианского социализма. Он был глубоко связан с рабочим движением, он был его частью и вытекал из опыта его рядовых участников. Теории Бернштейна отражали понимание смысла движения самими рабочими. Он извлекал свои этические предписания из жизни партии. Его ценности – *это солидарность, справедливость, равенство, свобода, прогресс.* Таковы же и экзестенциальные детерминанты организации рабочего класса. Это – не абстрактные философские понятия, и они не дедуцируются a priori, они не заданы, но определяются тем Arbeiterwelt, в котором живет любой рабочий. Они составляют принципы, которыми руководствуется движение, направляют его. Реализм Бернштейна – не приспособленчество, но гибкость. Ревизионизм часто обвиняли в оппортунизме, но позиция Бернштейна и других (хотя бы МакДональда в Англии или Курта Эйснера в Баварии) во время первой мировой войны подсказывает совсем иное, а Бернштейн всегда понимал рабочее движение как содружество борцов за общие гуманитарные и трудовые ценности. Но, с другой стороны, в отличие от Сореля, он не воспринимал рабочее движение как цель в себе и не считал, что ему не нужны материальные успехи и достижения.

По ту сторону ревизионизма

В дни Первой республики и, особенно, со времени второй мировой войны социал-демократия растеряла значительную долю своего морального воодушевления: она превратилась в адвокатуру интересов, в школу управления. Теперь она больше обязана Кейнсу и фабианцам, чем Марксу или Бернштейну. Общест-

во всеобщего благосостояния предполагает гораздо более глубокую кооперацию между "социальными партнерами", чем сочли бы допустимым даже самые "реформистские" представители рабочего движения из поколения Бернштейна.

Сегодня социал-демократы должны пытаться страховать капитализм от кризисов, инфляции, катастрофических случайностей, невзгод, старости и т.д. Они должны управлять так, чтобы заставить систему работать, а не преобразовывать ее: преобразования стимулируются теперь иначе – международными корпорациями, социалистическими правительствами, национальными революциями и международными организациями. Программы, которые в наши дни должны предлагать и осуществлять социал-демократы, тоже гораздо более прозаичны, чем что-либо мыслимое во времена Бернштейна: национальное планирование промышленности и сельского хозяйства, руководство национализированными отраслями промышленности, перераспределение доходов, общественное здравоохранение, домостроительство и другие публичные сферы обслуживания, регулирование цен, участие рабочих в управлении корпорациями. Все это, по большей части, требует сотрудничества, а не конфронтации, любой конфликт интересов или концепций должен решаться путем переговоров и арбитража, не доводя до взрыва, до открытой пробы сил.

Реформистская политика первой половины столетия была, в сущности, перераспределительной: борьба шла за долю продукта, которая должна принадлежать каждому классу. Соображения всеобщей экономической и социальной политики все еще базировались на допущении, что планирование производства должно оставаться в ведении предпринимателей, а цены – регулироваться рынком. Однако сегодняшние реформаторы уже не могут полагаться при столь жизненно важных решениях на слепую игру стихийных сил. Прежде всего, они – социальные регулировщики, а потому решительно отличаются от профсоюзных вожаков, которые боролись с отдельными предпринимателями.

Я говорил ранее, что бернштейновский анализ современного капитализма совершенно упускал из виду значение крупного предпринимательства и монополистических структур, он не поспевал за событиями даже своего времени. Сегодня реформизм этого типа столь же устарел, как и марксистская модель рево-

люции. Бернштейн верно описывал возможности успешного классового действия в мире, который существовал до первой мировой войны, но ему пришлось бы многому учиться заново, чтобы не потеряться в политике общества всеобщего благосостояния.

Оно предполагает более широкий кругозор, чем тот, который обеспечивался профсоюзными школами. В дни Бернштейна рабочее движение должно было приспосабливаться к превратностям капиталистического развития. Сегодня экономика должна и может формироваться соответственно концепциям социального планирования.

Перевод Б. Шрагина

Йозеф Покштефл

ЕЩЕ РАЗ О ЯЛТЕ

После введения в Польше военного положения в выступлениях многих западноевропейских политиков и обозревателей снова стало мелькать слово "Ялта". Политические круги Западной Европы ссылались на Ялту для обоснования своей бездейственности перед лицом насилия над волей польского народа. (В прошлом Ялту вспоминали по тем же причинам в связи с венгерскими событиями 1956 года и оккупацией Чехословакии в 1968 году.) Причем понятие "Ялта" должно было создать впечатление, что у Советского Союза есть не только политическое, но и юридическое право действовать соответствующим образом, тогда как юридическая обязанность Запада в этом случае – не предпринимать ничего.

В начале нынешнего года в газете "Нью-Йорк Таймс" канцлер Западной Германии Гельмут Шмидт писал: "Почти 40 лет назад на конференции в Ялте решено было разделить Европу на сферы влияния. Многие позже раскаивались в этом, но несмотря ни на что уже на протяжении 40 лет признание Западом факта, что страны на Восток от Эльбы не входят в его сферу влияния, совершенно очевидно".

Французский президент Миттеран исходит из аналогичной предпосылки, хотя политическая направленность его выводов несколько иная. "Было бы полезно все, что способствовало бы аннулированию Ялты, – заявил президент Франции в новогоднем выступлении, – но лишь в том случае, если желаемое не будет выдаваться за действительность".

К дискуссии о Ялтинском соглашении подключились и советские представители.В конце января текущего года по московскому телевидению выступил сотрудник отдела международной информации ЦК КПСС В. Кобыш. На вопрос, почему на Западе стали все чаще выступать против Ялтинского соглашения, Кобыш ответил: "Принципиальные политические перемены в Польше, к которым открыто стремилась "Солидарность", оказались бы в противоречии с соглашениями, достигнутыми в Ялте. Поэтому вашингтонские правители стараются освободиться от американских обязательств, которые принял в Ялте